**ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ОСТРОГ**

Иеромонах Благовещенского монастыря отец Игнатий стоял у ворот острога, ожидая, когда охранник справится у начальства на его счет
и надеясь, что ему позволят пройти. Загодя он отписал полицмейстеру с просьбой разрешить посещение одного из заключенных – Николая Белогорцева, с которым они некогда вместе учились в Нижегородской семинарии. Но тот проставил неопределенную визу «Не возражаю.
На усмотрение коменданта», таким образом, не отправив прошение по инстанциям, но как бы подвесив его в пространстве между полицейским и жандармским управлениями. Отцу Игнатию пришлось самому нести бумагу в тюрьму, и он понимал, что виза эта могла содержать тайное указание на отказ в свидании.

С Николаем, который, чудом избежав смертной казни за покушение на жизнь государственного чиновника, ожидал пересылки на сибирскую каторгу, они не только были знакомы, но и приятельствовали, пожалуй, даже дружили во время учебы. Спустя годы Игнатий с некоторой осторожностью думал об этой дружбе – настолько уж сильно развела их судьба. Но все-таки да, в то время, когда оба они были подростками, чистыми юными душами, что лишь готовились взойти в самостоятельную жизнь, Игнатий, в миру Алексей Горохов, сын приходского священника, и Николай, к своему четырнадцатилетию оказавшийся сиротою, были искренними друзьями. И да, это светлое взаимно связывающее чувство никуда уж не денется из их прошлого, пусть и позабытого, преодоленного по пути, что каждый из них выбрал в дальнейшем.

В память этого чувства отец Игнатий и запросил возможность встречи с Николаем. Может быть, поначалу она была романтически необязательной, но после сидения в присутственных местах, увенчанном формальной визой, двусмысленности которой позавидуют даже позднейшие богословы, отец Игнатий вознамерился добиться своего во что бы то ни стало – передал через охранника не только прошение,
но и настойчивое указание на пастырское право окормлять паству.

Утро выдалось стылым – на черную землю сквозь пустые уже кроны деревьев падали крупные хлопья снега и подолгу не таяли. Но к полудню распогодилось, просветлело; отец Игнатий смотрел, как в низком мутном небе растекается слабый свет далекого солнца. Наконец шаги, загремел засов, заныла в петлях тяжелая дверь, в открывшемся проходе показался охранник, замотанный в башлык: «Проходите, ваше преподобие, полковник ждет вас». Мощеный дворик с караульной будкой, нагромождение приставленных друг к другу низких зданий, узкие проходы между ними. «Куда мне идти?» – «Извольте следовать за мной». Вновь грохнула дверь, теперь уж за спиной, жандарм, сутулясь сиплым кашлем, прошел вперед. В одном из проходов показался еще один двор –
огорожен рядами колючей проволоки почти до самых крыш, – там, гремя кандалами, бродят несколько местных сидельцев, в стороне курит надзиратель, безучастно провожает их взглядом.

Отец Игнатий был здесь впервые. По рассказам отца, настоятеля церкви Святой Великомученницы Варвары, который частенько был приглашаем в острог на исповедь или отпевание – кажется, ему и венчать однажды приходилось в местной часовне – Игнатий знал и про круглые крепостные башни, и про подвалы, якобы хранившие запасы на случай осады, и про низкие сводчатые потолки, словно из последних сил связывающие расходящиеся в разные стороны каменные стены. Был наслышан и готовился к ветхозаветному мраку. Но все оказалось, нет, не иначе, но прозаичнее. Административный корпус, хоть и дышал казенщиной, но был чист и светел, в коридоре по-домашнему пахло печами и едой. Кабинет же коменданта, куда охранник его привел, был
и вовсе легко представим в любом, даже самом дружелюбном ведомстве. А его хозяин, лысый, со щегольскими усиками и в пенсне жандармский полковник, и вовсе запросто сошел бы, например, за банкира. Учтиво пригласил сесть, уставился было в лежащую перед ним на столе бумагу, вероятно, то самое прошение, но затем посмотрел на посетителя поверх очков.

– Чаю?

– Благодарствую.

– Ну что же, воля ваша, – вернулся к бумаге, поигрывая пальцами, словно собирался писать. – Значит, учились вместе, ага, приятельствовали. Так-так. И не заметили тогда за Белогорцевым никаких ложных устремлений?

– Не понимаю вас.

– Может быть, книжки семинаристу ненадлежащие находили, может быть, суждения вольнодумные слышали?

– Не припомню такого. Николай был обычным студентом, усердным в науках, даже и более обычного.

– Хорошо. Но я ведь почему спрашиваю – примерно в то время, когда вы вместе посещали семинарию и, как вы пишите, были «добрыми товарищами», Белогорцев и привлек наше внимание. Уже тогда…

– Мне нечего сказать на этот счет, полковник. Могу лишь выразить сожаление. И в том числе о том, что Николай не разделил со мной своих сомнений, своего душевного смятения, если таковое испытывал. Иначе я постарался бы укрепить его в праведных помыслах и, быть может, мы бы с вами не встретились при таких обстоятельствах.

– Душевного смятения! – полковник невольно хохотнул. – Собственно об этом я и хотел поговорить с вами, предупредить. Нет, – всплеснул руками, – я не против вашей встречи и нахожу ее даже полезной именно вот в этом смысле – ду-шев-ного смятения моего подопечного. В жандармском деле Белогорцева указывается, что он вспыльчив, эмоционально, так сказать, нестабилен, бывает заносчив на пустом месте, а потом вдруг удивительно смирен. Он всего пару недель у нас, но мои люди уже имели возможность самим непосредственно в этом убедиться – уже отсидел в карцере, смею вас уверить. Не буйный, не поду-
майте, очевидно, хорошо воспитан и образован, в общем, с виду приличный совершенно человек, но с червоточиной какой-то, понимаете?
Я даже не о политике говорю, упаси бог, просто непонятный он какой-то, сложно с ним, тяжело моим ребятам, – забарабанил по столу, – чувство тревоги постоянной вызывает. А это, согласитесь, пренеприятнейшее чувство, особенно в таком месте, как наше.

Полковник помолчал, наклонил голову набок, словно старался получше разглядеть отца Игнатия. Но тот не отвечал.

– Это так, ремарка, – полковник откинулся в кресле, – чтобы для вас не были неожиданностью возможные странности в поведении старого друга, – давно ж не виделись. Ведь так?.. Или все-таки доводилось?

– Нет, я потерял Николая из виду, как только он бросил семинарию и уехал из города.

– Хорошо….А также прошу вас иметь в виду все сказанное, прошу как пастыря, и надеюсь, что ваша встреча умиротворит заключенного Белогорцева, – полковник попробовал стать более формальным. – Слово священника исцеляет…

– Уповаю на то.

– Хорошо… И если что услышите… Нет-нет, я не покушаюсь на тайну исповеди, это святое, это между вами, разумеется. Но ведь Белогорцев участвовал в покушении на генерал-губернатора. Знаете ли?

– Читал.

– Диву даюсь, что его на виселицу не отправили, а всего лишь на каторгу с вечным поселением. Но если что услышите… ведь это долг
и перед государством, и перед Священным Синодом, если не ошибаюсь…

– Не утруждайтесь, полковник, я понимаю вас. Свой долг я Божией милостью исполню.

– Ну и замечательно, ваше преподобие, – полковник подался вперед, дружелюбно улыбаясь и опершись на стол обеими руками, бодро оттолкнулся от него, пружинисто встал, расправил портупею. – Значит, договорились. С огромным удовольствием сам вас провожу к вашему другу. Пойдемте, – загреб в кулак связку ключей и зашагал к выходу.

Прошли дальше по коридору. Полковник трогал затылок, и, когда убрал руку, отец Игнатий заметил на шее его, у основания черепа, целое созвездие заживающих и вызревающих фурункулов, обильно залитых йодом.

– Сюда прошу.

Неприметная пустая комната, лишь стол с лампой и два стула; окно убрано узловатой решеткой, в углу потрескивает печь.

– Присаживайтесь, сейчас его приведут. Даю вам полчаса. Когда закончите, постучите в дверь – в коридоре будет дожидаться надзиратель. И перед уходом, пожалуйста, загляните ко мне.

Полковник вышел, оставив Игнатия одного. Тот неторопливо огляделся. Комната, судя по всему, давно не использовалась и была наспех приготовлена специально для него – пахло сырой пылью и дымом свежезатопленной печи, в углах заметен лежалый мусор. Игнатий снял палий, встряхнул его от капель измороси, повесил на один из гвоздей, торчащих в стене, поближе к огню. Встал рядом, с удовольствием принимая всем телом горячее тепло. Подумал, что и расположиться удобнее будет у печки, – переставил стулья, смахнул рукавом пыль с сидений, уселся, посмотрел на другой, пустой стул, пытался представить, каким он стал, Николай.

Через четверть часа послышались шаги с металлическим пристуком кандалов. Открылась дверь – вошли. Вот и он – высокий, с угловатыми плечами, чуть склоненный на правый бок, как клонится, бывает, камыш, слегка качаясь на ветру. Острижен, но с длинной уже бородою, лицо неровное, с обостренными худобой чертами, спрятанные глаза. Стоит в серой, не по размеру робе – она сползает с его плеч, рукава путаются в цепях.

– Здравствуй, Николай.

Если б они встретились сейчас на улице, Игнатий не признал бы старинного товарища, лишь приглядываясь к нему – мимика, осанка, манера держаться, – угадывал знакомое.

– Здравствуй, Алексей… Или правильнее «святой отец»? И имя, верно, другое. У священников много имен – для каждого прихожанина свое. Я сяду. А? Как обращаться к тебе? К вам?

– Пустое. Как удобно тебе.

– Хорошо. Тогда «Алексей», – наигранно улыбнулся, явно стесняясь и видом своим, и всеми окружающими обстоятельствами, кашлянул. – Ну, зачем пришел?

– Прочитал в газетах, о том, что ты…

– Вернулся в город? – усмехнулся Николай.

– Кажется, ненадолго.

– Да нет, застрял здесь. Будут держать, пока дороги не встанут.

– Решил вот проведать.

– Ты не подумай, я рад тебе, рад, что не забыл, правда. И рад, что ты… вот такой.

– Монах?

– Ну да. Мне всегда казалось, что тебе это близко. Именно это тебе и близко.

– Что именно?

– Неучастие.

Игнатий вздохнул, скучнея этим расхожим представлением об истинном монашеском призвании.

– Быть может, ты и прав. Но это уж очень общее слово, мало что объясняет.

– Слова вообще ничего не объясняют, кроме как указывают на тот или иной архивный ящик – возьми вот эту карточку, а потом вон ту, вот еще, пожалуйте, и еще одну. И не перепутай очередность, если хочешь быть понятным! А то, что смыслы уже давно покинули пределы известных форм, что все привычное уже изменилось, обрело новый порядок, становится заметно, когда уже слишком поздно.

Николай говорил сердито и раздраженно, но вместе с тем спокойно, словно бы выказывать недовольство давно стало для него привычным делом. Как привычно было и то, что недовольство это никем другим не разделяется. Так обычно ворчат одинокие старики. При этом резкие ноты, проявляющиеся в его голосе, были вызваны скорее продолжительным молчанием, сухостью горла, нежели злостью.

Отец Игнатий отнес замечание о бессмысленности слов на усталость своего бывшего друга от казуистики недавнего судебного процесса, в ходе которого все, что ни скажешь, бывает вывернуто против тебя же самого.

– Узнаю прежнего товарища – все такой же философ, дискутер. Но сто-
ит ли сейчас об этом. Дай лучше обниму тебя, милый мой Николай.

Монах привстал, неудобно склонился над арестантом и нежно окружил его своими взволнованными руками, привлек себе. Тот в ответ загремел цепями, засопел: «Ну ладно, ладно».

– Я ведь вспоминал тебя. Переживал, когда ты уехал так внезапно, – проговорил Игнатий, усаживаясь обратно.

– Извини, так уж вышло. Мне тоже было горько с тобой расставаться, не было у меня здесь человека ближе тебя. Но никак не мог остаться. Хоть и многое пришлось оставить.

– Пути господни…

– Ну, это, пожалуй, карточка самой старшей масти – при всяком случае любой разговор покроет, – рассмеялся Николай.

– Объясни иначе.

– Что?

– Почему вышло именно так. Два мальчика с одной и той же книжкой, пусть и смотрят из разных углов, но на один и тот же предмет, пусть и видят каждый по-своему, но лишь дополняя видение другого. Почему же они оказались вот здесь? – Игнатий повел руками по сторонам. – Хотел ли хоть кто-то из них такого? Ведь нет.

Николай задумался, устремив взгляд в потолок; его борода задралась, как подол, обнажив водянисто-белую шею.

– Пожалуй, что пути, да. Неведомо, правда, чьи. И чем, каким законом предопределенные. Знаешь что, это как грех – совершается не поступком, а умыслом, поступок определяющим. Или даже предумыслом. Ну то есть неведома та точка этого самого пути, когда тот самый роковой поступок оказывается предопределенным всей внутренней логикой природы человека.

– Очень христианский взгляд.

– Не суть. Это простая логика.

– Значит, не так уж мы и далеки друг от друга.

– Были бы далеки, не сталкивались бы ежечасно лбами, – сказал Николай, расширив «мы» Игнатия с их частной пары до абстрактно общего значения. – Вот я и признаю, насколько правы вы, священство, с непреходящим покаянием. Так уж правы и усердны в этом, что места собственно поступку и вовсе не оставляете.

– Правильный вопрос «когда», а не «что»?

– Если величины известны, если субъекты – или объекты, как уж посмотреть, – описаны. Если мы знаем, кто такие эти мальчики. Эти или любые другие, – Николай попытался вытянуть ноги в стоптанных валяных бахилах, но цепи, что тащились за ними по полу, не позволяли принять удобное положение; он с досадой подогнул ноги обратно под стул, вздохнул. – Если знаем хотя бы что-то еще кроме того, что эти мальчики читают одну и ту же книжку и находят предмет для общего разговора. Общий язык, знаешь ли, вещь обманчивая – говорю ж, слова ничего не объясняют.

– О них известно, что вот сидят сейчас, спустя пятнадцать лет после своего детства…

– Могло ли быть иначе?

– Вот именно. Пути господни…

– Предопределенность в любой неопределенности? Из ваших церковных картотек даже не козыри, а круглые, как бильярдные шары, тяжелые, как ядра, призрачные, как мыльные пузыри, слова выкатываются – понимай, как хочешь, все равно не ухватишь, не поймаешь на подлоге, да? А вдобавок и полные равнодушия ко всему. Без всякой оценки. Один только первородный грех.

– Равно-душие. Равенство души. И ее ровность, и одинаковость
в участии, в сочувствии другой душе. Но не безучастие. И участие вовсе не хладнокровное – не бесчувствие.

– Исихазм…

– Рад, что помнишь.

Игнатий был доволен, что разговор с Николаем, спустя годы потенциально таивший в себе множество опасностей, повернулся на знакомую для него тему.

– Как уж забыть. Безвидная молитва и трезвение. Или вот еще словечко – «обожение».

– Не говори, что эти слова не согревали тебя в горестях. Когда душа бывала смята и белая мгла скрывала путь твой от твоих глаз.

– Согревали, точно. Если хочешь не сойти с ума в карцере, что-то эдакое и сам неминуемо выдумаешь. Но я всякий раз отгонял их палкой, чтоб избавиться от липкого усыпляющего смысла, который они кодифицируют. Святому Антонию колокольчика хватало для рассеивания бесов, а мне своих приходилось палкой гонять. Вот так!

– Обычно в голосах, невесть откуда исходящих, напротив, дьявола подозревают. А у тебя, видно, наоборот. Мастер ты парадоксов. Но никогда не понимал я, зачем ты столько сил на них тратишь, зачем так натужно в прелестях своих упорствуешь. Через тернии, но в обратную сторону.

– Но ведь и книжку не единственную мы все-таки прочитали, – Николай заметно оживлялся все более. – Знания не только вовремя обретаются, но и во время конкретное. Не только усваиваются фактом, но и формируют детерминистскую сеть. Узнаешь нечто сегодня – одним путем отправишься, а завтра вот то же самое осознаешь – уже другим. Не согласен? Одно и то же усилие ума, одно и то же логическое упражнение к разным результатам приводит, будучи в разное время приложенным. Время – быть может, более полный ответ, чем даже вера. Еще более неопределенное, в него, хочешь, весь мир заверни – всех праведников и еретиков с ними – весь целиком поместится.

– А помнишь отца Лаврентия? – вдруг вставил Игнатий.

– Ну как же! Преинтересный был дядька, все гуменцо свое оглаживал, когда вещал, а задаст вопрос каверзный, раззадорит нас – бороду грыз. Я и тогда удивлялся, как его не гонят за взгляды неблагонадежные. Жив ли?

– Слава Богу! Все так же преподает, правда сдавать стал, студенты жалуются, что уж и не всегда понимают, о чем он говорит. Но не фрондер он, насколько сейчас понимаю, а полемист изощренный и учитель, каких поискать. Все больше в софистике формальной упражнялся, нежели в богохульство впадал.

– Как это может быть?

– Может. Если делание умное. Цепко он нас, школяров, с Дарвином-то подковырнул, а? Я как сейчас помню твою горячую речь, отчего, мол, церковь не признает теорию эволюции.

– Но это и правда вопрос, если подумать. Дарвин ведь не отрицал Бога, ни вашего, никакого другого….

– …и напротив, даже укреплял славу его, по твоим словам.

– Да! И сейчас так же скажу. Ведь он разглядел в творении не только бы акт, пусть всемогущий, но и односложный, простейший для всемогущества, а узрел в нем создание целого автономного механизма, подобные акты постоянно воспроизводящего.

– …не только воспроизводящего, но и развивающегося самостоятельно непрестанно. Ныне, и присно, и вовеки веков!

– Аминь! Смеешься? Тебе разве можно это? Подумай же, разве не больше чудес явлено при внутренне заложенном механизме перерождения обезьяны в одухотворенное существо человека, чем простейшем – вот не было ничего, а вот уже все есть – превращении его из куска глины. Это колдовство какое-то, право слово, а не творение! Диалектика представляет Господа вашего более могущественным, чем метафизика, если подумать. Так в чем же дело?

– Нравится тебе твоя мысль, я вижу. Меня, признаюсь, тоже привлекает. Как солнечный зайчик, да, раздражает зрительный нерв. Детское забавление. Но что из этого следует? Интересное суждение – безусловно. Требующее ответа – не поспоришь. Но обязательно ли немедленного? – Игнатий выдержал паузу – Вот ты говоришь, время. Что это?
И сколько его нужно, чтобы?.. Сколько его достаточно? Или необходимо? И уверен ли ты, что это суждение полноценно? Что оно истинно?
И его истинность останется непреложной?..

– Ныне, и присно, и вовеки веков?

– Да. Есть одна теория, есть другая, пятая, десятая, целое сонмище теорий, в разной степени доказанных, пересмотренных, уточненных и отвергнутых. Но мир вот он, от века покоится вокруг нас единый
и единственный. Все ли ты знаешь, владеешь ли всем необходимым знанием, чтобы поступить именно правильно? Ты же говоришь о поступке… Так что дело, я думаю, в осознании себя, в стремлении ежеминутно понимать, что именно происходит в твоей жизни.

Игнатий говорил спокойно и свободно, демонстрируя готовность
и принять иронию собеседника, и самому ее проявить над собственными же словами. Словно слова эти не восприняты им были извне, а им самостоятельно созданы. И теперь он по своей воле мог распоряжаться смыслами, в них заключенными.

Расправил рукава рясы, продолжил:

– Как разделить любование теориями и соблюдение, удержание
в себе истины я, признаюсь, не ведаю. Предполагаю, есть некий высший замысел, чтобы разделение это проходило не в человеке – ведь иначе душа его не отыщет пути к покою, – а в человеках. Или во всем множестве человеков, как в человеке едином. Одни пробуют этот мир на прочность – ведь ребенок, что стремится разобрать игрушку на части и докопаться до ее нутра, не столько изучает ее, сколько проявляет свою волю и совсем не заботится о том, сможет ли собрать ее воедино заново. А другие – этот мир сохраняют, зная о том, что истина недостижима. Разве ответ нужен не для того, чтобы появилось еще больше вопросов? Так ведь говорят научники. Они признают истиной лишь то, что не оспорено на протяжении тысячелетий. Скажи мне, помнишь ли ты постулат апостольского собора?

– Не делай другому того, что не пожелаешь себе?

– Примерно. Это ведь всё, боле ведь ничего не сказано. Одно лишь простейшее правило. Просто не делай. О большем судить я не могу.

– Помню семинаристскую библиотеку – там горы томов, – усмехнулся Николай.

– Крамольную для своего сана мысль выскажу другу своему неприкаянному – люди говорят. Такими уж мы явились в этот мир. Думают они чаще потом, от стыда, в оправдание этой своей потребности говорить. Так, быть может, проявляется наше единение. Муж и жена –
это нечто ослепительное, не мирское вовсе, оттого так сокрытое и никакими словами невыразимое, сколько страниц ни испиши. Браки заключаются на небесах. А уже начиная от родителей и детей и далее до товарищей, соратников, продавцов и покупателей единство наше –
в словах. Мы должны его постоянно себе подтверждать. Как птица
в лесу кричит, чтобы обозначить для других птиц свое существование, так
и люди…. А нам кажется, что она поет.

– Расстригой кончишь, Алексей.

– Упаси Бог. Ты же лучше других знаешь, что священство – те же человеки. Почему же отказать ему в словохотении и в интересе познания, что же находится внутри той игрушки, что нам дадена. С присущей лишь осторожностью, конечно.

– Удерживать себя? Держаться догмы, невесть когда, невесть кем постулированной? Скажи-ка мне, где сейчас находятся те евангелия, что были исключены из канона?

– Не будь банальным, Николай. Ты упрощаешь неведомое тебе до простейшей проекции. Используя слова из той самой картотеки, которую сам же справедливо высмеиваешь. Я лишь говорю, не суди
о неведомом. Познанию подлежит, да. И не в семинарии даже, чему ты оказался ярким примером. А иному какому-то познанию. Не будешь же ты утверждать, что путь познания единственный? Есть математика, есть филология, никак не совмещаемые, только лишь упражнением ума, несуществующей в природе абстракцией, но описывают одно и то же – Божий мир.

– Хватит, Алексей, помилосердствуй. Ты подразумеваешь в познании возможность высшего дара, мистики. Увлекаешься идеей самим же собой выдуманной, никаким образом не подтверждаемой, но буде она сформулирована, должна и место некое обрести. Да с какой стати?! Это простейшая фальсификация всего лишь. Настолько неловкая и односложная к тому же, что нуждается в постоянном усложнении, чтоб грубо раскрашенной пустышкой не выглядеть. Закрою глаза, ты, пожалуй, усыпишь меня неисчислимыми стаями не загадок, не опровержений, не доводов, не аргументов, а попросту домыслов – откуда только что взялось! – которые вы размножили в темных пещерах и от века носите в своих рясах и ворчите на всех, кто не хочет вас слушать. А сколько народу порезали да пожгли из гордыни своей.

– Хватит так хватит, – примирительно улыбнулся Николай. – И правда зря мы языками зацепились, хоть и радостно мне, что спустя годы все так же разговариваем не только о себе. Однако времени у нас мало –
как ты?

– Еду на каторгу, Алексей, – усмехнулся Николай, раскачав на руках мрачно скрипнувшие кандалы, – неужели не видишь?

– Женат? Дети?

– Нет. Семейный уют не для меня оказался. Решившийся убить, рожать не должен.

– Не жалеешь?

– О пути? Нет. Как ни посмотри на него – из моего угла или с твоего амвона – жалеть не о чем. Можно только сокрушаться.

– И молиться.

– Это оставь себе. Хорошо, если помогает, мне – нет, соблазняет только. А про тебя и спросить, видимо, нечего. Где обретаешься?

– Здесь, в Благовещенском.

– На берегу…

– Да.

– Помню, там сады были – зелено. И белый чистый камень. Красиво по молодой весне.

– Невестино, да. Только берег все активнее обживают, шумно становится, суетно.

– Так и планируешь там оставаться?

– Не знаю. На все ведь воля Божия, ты не поверишь. Но, кажется, пора нам.

Скрипнула дверь, отворилась, в проеме показался жандарм.

– Время вышло, ваше преподобие, не судите, приказ полковника.

– Да, да, голубчик… Ну что ж.

Товарищи поднялись. Николай протянул руки, Игнатий ухватил их, крепко сжал.

– Рад был видеть тебя. Держись, пожалуйста. Буду за тебя молиться.

Надзиратель взял арестанта под руку, молча потянул за собой. Игнатий крестил Николая в спину, бормоча благословение.

– А ты знаешь что, – тот вдруг обернулся, – приходи, пожалуй, опять, если можешь. Меня еще несколько недель будут держать перед отправкой, а здесь и парой слов не с кем обмолвиться, сам понимаешь, не только уж собеседовать. А ты к тому же и человек не чужой. А?

– Конечно, смогу. С радостью приду.

– Только папирос принеси. Не скоромно тебе будет?

– Если позволят, дорогой Николай, и приду, и принесу не только папирос.

Арестанта вывели, дверь осталась открытой. Игнатий слушал, как удаляется звон цепей. Затем направился к полковнику, как договаривались. Тот поднялся навстречу, отложив перо, близко подошел и повел рукой вдоль плеча Игнатия, словно стремился поскорее выпроводить его.

– Ну что? Как прошла встреча?

– Спокойно, к моему большому удовлетворению. Очень вам благодарен.

– Ну что вы, не стоит. Как показался вам Белогорцев? Ни о чем таком речь не заводил, что бы мне стоило услышать?

– Поверьте, нет. Мы совсем не касались этих тем, все больше вспоминали прежние времена.

– Они были спокойнее и приятнее, чем нынешние, понимаю вас. Впрочем, так, кажется, всегда и бывает. Ну что же, тогда здравия желаю.

– Просьба у меня к вам есть

– Слушаю.

– Я хотел бы вновь навестить Николая, скажем, через пару дней. Домашней еды какой принести….

– Ах, ты батюшки! Не скрою, эти визиты для нас довольно хлопотны… Но если рассудить… Давайте так – я подумаю и извещу вас. Хорошо?

– Да, спасибо, полковник. Храни вас Господь.

– Ага. И вам тоже всего хорошего.

На обратном пути Игнатий почувствовал досаду. Взволнованный встречей он пошел пешком, не брал извозчика до самой Благовещенской
площади. Отсюда лишь покатил – по Зеленскому съезду, через Нижний базар, – пряча лицо и от встречного ветра, и от встречаемых людей. Он словно продолжал внезапно извне прерванный разговор, возвращался к разным его фрагментам, развивал даже и не высказанные вслух мысли, свои собственные или, как ему казалось, питавшие Николая. Терзавшие его, ведь неспокойствие души – есть мука и страдание. Это Игнатий знал по опыту, из него исходил в своем пастырском служении. И вот сквозь радость после стольких лет видеть наперсника своего детства, сквозь бодрость духа, которую он ощутил в собеседовании
с ним, Игнатий смутился болезненной досадой. Он вдруг осознал свою разговорчивость как глухоту. Позволил себя увлечь обсуждением пусть интересных, живых для него и важных самими по себе, но отвлеченных и потому, возможно, праздных для его друга вопросов. Для его изъязвленной, притаившейся в своей боли души. Пытался ли он повести Николая за собой, хотя бы выпрямить его? Конечно нет. Ведь для этого он должен был, напротив, вынудить его говорить именно что о себе. Спустя долгие годы, в которых они были друг другом потеряны и разобщены, он должен был вернуть дружеское доверие, а не определять и обосновывать границы, разделявшие их. Невольно вышло и незамеченным прошло то, что Игнатий с хладнокровием принял изощренное богохульство Николая, но не его самого. В сказанных словах, ведь не обязательно точных, наверняка не вполне соответствовавших тому, что каждый из них имел выразить, словах, зачастую приготовленных в нашем уме кем-то другим и по другому случаю, Игнатий словно бы
и не разглядел своего собеседника. Как среди листвы, залитой золотым предвечерним солнцем. Какие у него глаза?

Милостью Божией они встретятся вновь, и Игнатий будет и более сдержан, и предусмотрителен, и внимателен к Николаю. Но, кажется, он был и сегодня достаточно смирен – это хорошо, это благостно, поду-
мал монах.

Через день, на второй, в монастырь явился жандарм и попросил Игнатия ехать с ним. Тот даже прервал молитву, поспешив собраться. Он понимал, что если не пойдет немедленно сейчас, то, возможно, уже не получит нового свидания. Впопыхах насовал в мешок разной снеди на монастырской кухне и, даже не заглянув, не осмотрев себя в зеркале, отправился. Его отвезли в казенной коляске, без ожидания провели
в прежнюю комнату. Жандарм лишь разобрал его мешок – надломил пироги, не спрятано ли в них чего, вскрыл пачки папирос, поболтал бутыль с молоком: «Таков порядок, ваше преподобие». Как прежде, пылала печь.

Вскоре привели Николая – вошел уверенно, привычкой. Игнатию показалось, что тот и выпрямился, просветлел.

– Здравствуй, – перекрестил его, – вот принес, как ты просил. И еды немного.

– О, монастырские пироги! С рыбой?

– Да, наши мужики у стен монастыря ловят. Не знаю, сом ли, судак, взял какие были. И с капустой еще… Осторожнее, могут оказаться косточки.

Смотрел, как исхудавший Николай с удовольствием жевал – щеки надувались пузырем, крошки падали в бороду, пил молоко, а потом облизывал усы, утирался рукавом, громыхая цепью. Смотрел с родительской нежностью и навязчивой заботой, готовый помочь прежнему товарищу даже в этом исходном, простейшем занятии.

– Думал я о нашем разговоре, признаюсь, – проговорил с набитым ртом Николай, – уже потому думал, что мне уж в моем предрешении думать больше и не о чем.

– И что надумал?

– Да все больше прежнее, к твоему сожалению. Что и так знаю, но интересно и тебя услышать. Заковыристая ведь вещь получается – ты говоришь о единении человеческом, указываешь на естественность потребности в ней. Значит – о равенстве людей, нет? Равно-душии.
Ко всем и ко всему равно и ровно с тем превеликим чувством, что
и к себе, в конечном итоге. Так я понимаю?

Игнатий закачал головой вслед за ступенчатостью умозаключений Николая.

– Ну, допустим. Хочу понять, продолжай.

– …Но при этом разделяешь людей. Властно и без апелляций. Говоря о вере как о чем-то, что никак невозможно объяснить и даже доказать, только описать, зафиксировать ее симптомы, ты предлагаешь заведомо не опровергаемый фактор такого разделения. При этом фактор не настолько очевидный для противоположной тебе стороны – ведь те, кто отрицают наличие высшего промысла, не просто игнорируют его, а именно оспаривают его существование. Ты не столько разделяешь людей, выходит, сколько от них отделяешься. Ну, ты не лично, конечно, а вся ваша благочестивая братия. То есть именно атеисты сомнениями своими, постоянной генерацией всяких теорий, снисходя к примитивной физиологии и возвышаясь до поэтических высот горнего мира, равенство-то в единении человеческом и устанавливают. Вот уж поистине обожение, не находишь? В то время, как вы лишь отрицаете. Отрицаете все, кроме того, о чем между собой договорились. И этот свой договор, который никем из иных не принят, вы этим иным и навязываете, реализуя неравенство и разобщенность. Тот, кто принимает его, тот просто переходит на вашу сторону – это понятно. Но как быть с теми, другими?

– Нет, милый Николай, не отрицаем. Я не отрицаю. Но ты исходишь из того, что твой метод познания, твой язык единственны…

– Это не так.

– Хорошо, не единственны, но максимально точны – так устроит? –
оптимальны из имеющихся или возможных. Ты не испытываешь потребности в обретении новых методов и языка, не сталкивался с обстоятельствами, при которых такая потребность формируется. Почему же ты судишь о ней? Ты говоришь, что отрицающие Бога что-либо оспаривают, таким образом формируя пространство контакта, взаимодействия. Но ведь математика не может не только уж оспорить, но и вообще обратиться к филологии. Как, пожалуй, верно и обратное. Нужен какой-то переводчик. Откуда взять его? С чьей стороны привлечь и как убедиться, что перевод его будет адекватным? Вот поэтому священник всегда со своей паствой, он призван к этому – изучать ее. Да, я понимаю, что «исцелять» ты примешь в штыки, но вот «изучать» устроит тебя? Согласен? Разделение очевидно и не только в этом вопросе,
а и в любом другом. Вы же мастера их множить. Нигде не можете остановиться, всякое утверждение в вас вызывает сомнение. Всякая истина недостаточна, нужно обязательно расковырять ее – нет ли там чего-то еще. Но кто кроме церкви призывает ко взаимопониманию, всепрощению, миру, наконец? Ведь переводчики с вашей стороны менее дружелюбны. Ведь вы именно что башню, грозный донжон возводите своими умозаключениями, конструкцию, которая возносится все выше и выше, так что на голову рухнет того и гляди. Посмотри на чем она стоит, на чем зиждется? Вся целиком – на опровержении высшего существования. Если вспомнить о математическом модуле, то и мы покоимся на том же основании, да, только с утверждением Его. И этого хватает нам, заметь, мы не устремляемся дальше. Не башню, а лишь дом вокруг очага обихаживаем. Так кто же разделяет? Церковь, славя Бога, смотрит на человека и хранит его, вы же на человека опираетесь, чтобы Бога ниспровергнуть. Зачем?

– Если бы. Если бы слова не оборачивались чем-то иным, чем-то обратным…

– Это не страшно, если есть искреннее намерение принять. Это называется любовью. Это и есть благовестие. А слова… их можно переговорить, лишь бы собеседник хотел понять, а не победить в споре.

Игнатий перебил Николая из внутренней уверенности, что способен предвосхитить всякие его возражения, видеть предмет спора с любой возможной стороны, настолько продуман он был им за многие годы. Он был готов и проявить великодушие к запутавшемуся мнимыми парадоксами товарищу, лишь бы тот смирил гордыню свою.

Но Николай говорил об ином.

– …если бы преподобный Сергий, – продолжил он, – в своем частном исихазме остался анахоретом, пошел в столпники, действительно отринув все мирское, прошел незамеченным в своем пути индивидуального человека в Царство Божие, то и я б, наверное, принял все твои аллегории. Но порядок был нарушен, и теперь мы кутаемся в коконы слов – говорим о доверии, приготовляясь к подвоху. Разве не Сергий, духовный собиратель Руси, стал моральной основой совсем другого, жестокого к народам и к человеку царства? За безвидной молитвой монаха выстроилась огромная машина подчинения. Всепрощение и смирение – самое время к ним призывать, когда человек, которого вы, да пусть хоть и исцеляете, ограничен, спутан, унижен, подавлен и растерзан. Стая волков насыщается кровью этого самого человека, пока вы изучаете его.

– А чего добились вы, убив императора? Разве не обратного тому, на что рассчитывали? Говорят, конституция готовилась… Я не считаю это важным, не думаю, что человек изменится или станет счастливее под влиянием законов и даденных прав, если он не научается пользоваться правом любить. А посему есть конституция или нет – мне в целом безразлично. Но для тебя, для вас? Вы же заявляете, что это необходимо. Народ, демократия, общее благо! Или это слова, которые лишь прикрывают частную корысть? Ты будешь вынужден согласиться со мной, здесь лишь два варианта – либо крайний индивидуализм, тщеславие, амбиции, желание отомстить, рядящееся в заботу о коллективном, либо простое человеческое неразумение. Выбирай. Церковь предостерегает и от того, и от другого.

– Мы продемонстрировали намерение. Мы показали, что не просим более, мы требуем. Равенство свое насильнику показали – тоже можем применить силу.

– Народная воля? А вы, значит, ее проводники, воли этой, так выходит? А что такое народ вообще? Можем ли мы говорить о народе без человека? Не слишком ли легко говорить о народе, а не о конкретном человеке? Не слишком ли легко подменять народ, его истинное глубинное содержание простыми догадками, теориями, которые невозможно доказать,
а эту самую волю его наполнять домыслами, прямыми вымыслами или даже злыми умыслами? Никто же за руку не поймает, да?! Прости, друг мой, но я никогда не решусь утверждать, что знаю свой народ. Но ведь ты, Николай, не ответил. Принялся защищать себя, в то время как я не нападаю. Мы верим в бессмертие души и помолимся обо всех убиенных. Мы признаем праведность воина, хоть и отказываем ему в причастии на целые годы, зная, как страдает отторгаемая душа. Она страдает в очищении. Нельзя получить конституцию, убив того, кто должен ее подписать. Как нельзя осчастливить народ, исповедуя собственную страсть. Что такое народное – или как еще? – коллективное благо, ты знаешь?

– Равенство. Действительное. Конституция – это наш способ реализовать примат христианской любви, если хочешь. Если так тебе понятнее. В известном смысле мы стремимся конкретизировать догмат – от общего к частному. Вот что такое юридический закон – общежитийная норма. Вы пугаете наказанием Господним, мы – возмездием правосудия. Дал бы Христос не десять заповедей, а хотя бы сотню – может,
и Конституция бы не понадобилась.

– Будешь упрекать церковь в консерватизме? Мол, охраняете древние свитки, в то время как ученые мужи уточнили их до мелочей?
Но вновь забываешь об относительности познания. Вы ходите по кругу, радуясь лишь тому, что вырвались на этом круге вперед относительно прочих. Возлюби ближнего своего – это не о том, что о любви пока еще мы знаем так мало, что боимся исчерпывающего списка ее видов, боимся ошибки или хотим запутать в интерпретациях. Это о том, что какую любовь вы только ни найдете – вся она здесь, уже все сказано. Сколько ни копай, только это и будет. Будь доволен, наконец, человек!

– Ты даже не замечаешь, как постоянно возвращаешься к одному
и тому же. Словно мы идем по лесу, но ты вновь и вновь норовишь вернуться на свою поляну и голубить свой аленький цветок. Принимаешь ли ты мое представление о коллективном благе? Или спросил о нем просто так, потому что в сущности оно тебе неинтересно?

– Лишь бы ты принял свой ответ. Действительно уверился в нем. Если не имеешь другого инструмента познания, то, используя логику, один ли и тот же ответ ты получаешь в разное время? Ты прав, коллективное благо меня занимает меньше, чем благо человека. Я вообще не очень понимаю, что это за сущность такая – общество. Народ, да, хоть и эфемерное, но понятие, культурный феномен. А общество? Придуманная какая-то конструкция, нет? Сегодня так понимается, завтра – эдак. А вот ты, например, совершенно конкретен. Тобой я сейчас искренне интересуюсь. Всей душой хочу, и опять не получается поговорить именно с тобой. О тебе.

– Узнаю пастырское высокомерие – спрашивать в расчете лишь на то, чтобы собеседник задумался над собственным ответом. Это раздражает, признаюсь.

– Извини, пожалуйста. Но как мне еще найти к тебе путь, если не через те двери, в которые ты ломишься? Коллективное благо – это же ваш идол! Ради него все эти смерти. Готовы пожертвовать даже собой. Ты представляешь, что тебя ждет на каторге?! И вот, сидя в ожидании этих мук, мы, два искренних некогда друга, обсуждаем народное благо?! Как оно вообще может быть, если сотни, тысячи людей гниют заживо ради него? Услышь меня, наконец!

– А что им делать, этим сотням и тысячам, если их мир – вовсе не благодать, а мрак и насилие? Разве у них нет права на защиту, не могут они сопротивляться насилию? Мой покровитель Николай Чудотворец разве не залепил пощечину Арию за подчинение Сына Отцу?

– Опять юродствуешь. Еще вопрос, кто кого провоцирует. Святой Николай видел ересь сомнения в единстве Троицы, а не в подчинении сына отцу… Могут! Не скажу, что должны, но сопротивляться могут. Только ведь борцы за права невинно обиженных – вовсе не они сами, эти встраиваются в предлагаемые модели, как черенок в прививаемую яблоню. А вот на бой идут и прочих призывают совсем иные, те, которые воспринимают борьбу как идею. Отсюда и идут абстракции коллективного блага, обживаются в сознании людей, становятся самостоятельной сущностью и требуют отдельного нового, доселе неведомого знания…

– Не историю церкви ты мне сейчас рассказываешь?

– Пусть так! Но я повторяю, люди, любые, – и миряне, и священники –
хотят говорить. Законы будут множиться. Ты помянул преподобного Сергия, но помяни и мое слово, что придет время, когда договорятся до того, что монгольское иго не бедой народной было, но благом, мол, через Сергия послужило оно катализатором русского вещества. Но что это меняет? Сергий как был, так и останется чистым нетронутым. А эти «иные», умаявшись своей суетой, сделают лишь новый круг.
И в церкви это есть, да, но в церкви есть и другое – память многовековая. А еще – догмат. Пусть он и недостаточно для вас уточнен и осовременен, зато позволяет удерживать от слишком уж широких заходов на круг. Удержал бы тебя кто в тот момент, когда ты бомбу делал, что было бы с коллективным благом?!

Открылась дверь, вошел жандарм.

 – …А что было бы с тобой? – договорил Игнатий, осекшись тем, что эта фраза теперь повиснет в воздухе неотвеченной и будет сверлить его ум до исступления самого глубокого разочарования. Но не договорить он не мог. Сжал губы, глядя, как Николай тоже заметно взволнованный, тоже споткнувшийся о невозможность ответить, пусть нелепо, первым что придет на ум, пусть выкриком, но поставить точку, поднялся со своего стула и покорно пошел к выходу.

– Я постараюсь прийти еще. Сожалею, Николай.

– Буду ждать. Но как знаешь.

Вечером того же дня отец Игнатий вышел за монастырские ворота, чтобы постоять в одиночестве у Гремячего ручья. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Неумолчную молитву он растворял в журчании воды, настойчиво отгоняя нелепые воспоминания о том, как в юности старался запомнить правильный порядок слов –
несколько раз произнеся «Господи Боже, Иисусе Христе…», он долго затем терялся, как же правильно, и подглядывал в молитвенник. Днем же ручья совсем было не слыхать из-за грохота груженых подвод, едущих мимо.

Намело, на теплой еще с лета земле образовалась снежная каша, теперь она заиндевела на вечернем морозе. Хрустя ею, Игнатий что-то пнул сапогом, прихватил – то была кованая блочная скоба; оставила шершавый след мокрой ржавчины на пальцах. Он пытался присмотреться к себе, внутренне изловчиться и от себя отойти, чтобы со стороны увидеть. Освободить и разум, и душу, как учили праведники, чтобы те в покое и согласии друг с другом наполнили его пониманием. Отчего так происходит, отчего, несмотря на его решимость и старания, движется именно так, а не иначе? Отчего он глух и так требователен? Что пытается доказать? Почему именно Николай, разделивший с ним трепетные годы беззащитности и надежд, вызывает в нем приступ многословия? Так бывает, Игнатий наблюдал уже, с людьми в минуты горя и опустошенности – говорят, надеясь заполнить пустоту словами, наполняя слух звуками, говорят, словно укутывают себя одеялом в попытке согреться. Или стараясь удержать реальность от разрушения, чтобы все оставалось на своих местах, как прежде, пусть и мнимо. Повертел в руках скобу – четырехгранная в сечении, в палец толщиной – пригодится, только вот руки холодит.

Игнатий горько досадовал, что старинные товарищи, которые так радостно и так, в сущности, недолго были вместе, что не успели накопить взаимных обид, не находят теперь никаких других тем для разговора, кроме самых болезненных и заведомо разделяющих. Не вспоминают, как таскали яблоки из чужих садов, как прятали за пазухой томики порицаемой в семинарии беллетристики, как смеялись над брачными объявлениями в газетах, а жарким июлем подсматривали через дырку в заборе, сквозь кусты наливающейся кровью смородины, как полуодетая мещанская дочка полощет во дворе белье. Светлые щеки Николая покрывались неровными пятнами румянца, он отводил глаза, а затем непременно затевал шутливую потасовку. Они катались по земле, теряя картузы и смеялись. Но почему сейчас они словно пытаются причинить друг другу боль? Или это такая же потасовка из желания не столько победить, оказаться выше и сильнее, сколько стравить душевное давление? И они ли тому причиной, в равной ли степени зачинщики, или только он один? Возможно ли, что снова и снова возвращаясь
к разговору, он не столько вспоминал его, сколько заново моделировал? Возможно ли, что его душевная глухота, которая отзывалась сейчас жгучим стыдом, как бесстыдная торговка попросту подменяла ему реальность? Что он не просто не воспринимал сказанное Николаем, но слышал им и вовсе не сказанное? Разговаривал с самим собой, привлекая несчастного товарища в безвольные свидетели. Так актеры, входя в роль, заставляют домашних зачитывать чужие реплики. Так на портретах, некогда любимых вымещают злость на самих себя. Так иные монашествующие впадают в безумие, поскользнувшись на неведомом мыслительном изъяне на самой уже почти вершине благости.

Игнатий поспешил воротиться поближе к монастырю. Как бы то ни было, теперь необходимо договорить. И как можно скорее. Чтобы недоговоренное не оказалось превратно понятым, не проросло ложными всходами в их душах.

– Если прав ты, то жизнь моя лишена смысла…

– Господь с тобой, Николай! С какой позиции ни посмотри, это не так.

В третий раз Игнатий пришел в острог без договоренности с комендантом, как только завершил работы свои в монастыре, тревожился
о том, как его примут. Но встретили без церемоний, буднично, даже не проверили его мешок, в котором он принес моченых яблок и горшок каши, а еще краюху свежеиспеченного монастырского хлеба. Во дворе все так же бродили арестанты, все так же безучастно курил надзиратель. Подождать лишь пришлось дольше обычного, словно Николая приготовляли или занят он был.

– Я не могу признать твою правоту уже потому только, что она обессмысливает мою жизнь, – Николай разглядывал кашу, ковыряя ее старой обглоданной уже ложкой, но поднял глаза. – Чего ты хочешь от меня, когда утверждаешь, что путь, которым я следую, ошибочен? Если выбор самостоятелен и осознан, то я, выходит, неудачник, если не прохиндей, который растранжирил многие годы без какого-либо следа. А ежели выбор пути предрешен высшей силой – еще неизвестно, что страшнее, – то как понимать это?

– Я в принципе не считаю верным столь прямолинейный подход.

– Да мне плевать, что ты считаешь верным. Ответь на вопрос!

– Я исхожу из непознаваемости высшего промысла. Настолько, что даже не задаюсь вопросом о цели. Допускаю, что сама по себе категория цели здесь неуместна. Извини, твоя логика требует следующего силлогизма, и опять следующего и так далее, и так без конца. Следуя ей, ты вынужден признать, что ты жертва, агнец для заклания, никак иначе же не выходит, если высшая воля ведет по заведомо ложному пути. Что, возможно, ты и правда пример для других, но только не
в том смысле, как представляют себе бомбисты, мол, мы герои, образом и духом которых будут разбужены новые борцы за справедливость,
а в ином, быть может, более жестоком – пример падения. Как в античном Риме юношам патрицианских семей показывали пьяных рабов, чтоб отвратить их от вина. Твоя логика неизбежно формирует языческого изуверского бога. В образе которого люди лишь кодифицируют собственные низменные порывы. На старых иконах, бывало, изображали демонов, но не существует в Божием мире обиталища для них. Ада как такового, места, полного мук и огня, не существует. Ад – это лишь недопущение к себе Бога. Поэтому я не приемлю твой подход.

– Тогда и проще, и честнее признать самостоятельность выбора. Эдакое противоборство с Ним.

– Проще. Потому что привычнее, ибо «я» понятнее, чем Он, животом чувствуешь себя, чреслами. Но вспомни себя влюбленным. Ты ведь любил, да? Вспомни, как пылало сердце, как предмет своей любви ты ощущал живее, чем самого себя, как растворялся в нем, и каждый прожитый день был самоценен, будущее не имело никакого значения. Разбуди тебя ночью – ты даже не услышишь вопроса, будешь говорить лишь о своей любви. Твои глаза, твоя душа, все твое естество наполнено этой любовью. Но никому другому не сможешь ее объяснить. Этот другой может и сомневаться, не находить в предмете твоего обожания тех беспримерных достоинств, о которых ему твердишь. Но что это меняет для тебя? Ты знаешь, что отныне твоя жизнь изменилась навсегда. Так и здесь. Разбуди ночью и увидишь в счастливых глазах «Верую
в Тебя, Господи»…. Понимаешь? Жизнь не может быть лишенной смысла, как бы ты ни проживал ее….

– Не надо, Алексей.

– …Даже грех, совершенный, допущенный… Понимаешь, Он что-то говорит тебе… Даже наказание, хворь, или утрата, или растерянность – это не обесценивание, а указание…

– Слышал я это. Но вот что думаю сам… Думаю, что христианство значимо не указаниями, а, напротив, предоставленной человеку свободой. Тем, что оно сформировало феномен моральной дилеммы.
Не исключаю даже, что первоотцы в мудрости своей нарочно составили библейские книги с очевидными изъятиями, чтобы осталось между строками их пространство для интерпретаций. Было бы дадено не десять общежитийных принципов, а пусть хоть сотня, тем паче шесть сотен, так чтобы тесно их стало соблюдать, так чтобы ни времени
не хватало блюсти, ни ума – усомниться, но ведь нет. За простотой догмата любители цитат и дословного следования неизбежно путаются противоречиями – всякого взывающего способен осечь другой, противный, но равносильный ему….

Николай остановился, задумавшись. Потом нервически повел рукой, словно подыскивал слова, посмотрел в сторону окна.

– Знал я одного человека, давно это было, еще в университете, – продолжил, склонив голову. – Наверное, у каждого есть такой знакомый, даже мимолетный, едва различимый в свое время, но которого вспоминаешь во время особое. Мастеровой краснодеревщик – вот уж поистине чудеса творил, прости уж меня. Повертит в руках деревяшку, самую бросовую, ножом порежет – вот и игрушка вышла… Все в его руках словно оживало, ладилось. Казалось, палку дубовую, иссушенную годами, просто в землю воткнет – и та прорастет. Да хоть в голый камень – все одно побеги даст… Застрелили его жандармы. Выследили с пачкой брошюр наших, попытались взять, он вырвался – вот и застрелили. А ведь могли не стрелять. Могли промахнуться. Понимаешь? Путь христианина, по-моему, не указание, а моральная дилемма, в которой ты волен. Вон Бог, а вон порог… Он сочувствовал нам. Сам из зажиточных, но народ, непонятный тебе, замечал – сочувствовал нам. Нет, в боевых операциях или подготовке к ним не участвовал, никакого насилия не принимал. Но вот брошюры распространял. Значит, видел смысл в нашей деятельности. И видел разделение в ней. В самом малом видел разделение, значимое для него. Крошечное совсем различие, полшага, пядь в сторону, а все уже другое. Как его соблюсти, каким указанием определить, какими весами измерить? Невозможно. Если только не тяжкою думой, что спать не дает, пришел ты сюда, в это вот самое, именно твое место…. Не знаю, о чем я. Может, радуюсь, что вот так у него вышло. Может, и та бомба, которую я собирал, должна была мне голову оторвать. Может, так лучше бы было…

– Перестань! – оборвал Игнатий раздраженно. Он раздражался еще более оттого, что история, рассказанная Николаем, неуместно в их разговоре разжалобила его.

– Ты ведь тоже понимаешь, что у меня впереди лишь расплата. Преступление и наказание – если ты прав – это мы уже знаем. А иначе –
горячая и взывающая память товарищей – это еще предстоит узнать. Мы с тобой сейчас как в игорном доме – ожидаем, что выпадет. Может, вот он, ад. А может, и нет. Моральная дилемма христианина и благодетельствует, и христианство же разрушает, лишает церковь примата
в вопросах веры – она же есть выбор, если подумать, вера-то.

– Я не знаю, что сказать. Порою слышу в тебе и праведное чувство, и искреннее желание благодати Господней, хочу помочь, протягиваю
к тебе братские руки, но ты тут же высмеиваешь себя же, отступаешь от порога. Ты словно бы пробуешь на вкус. Может быть, для тебя жизнь –
игра, в гордость, в широкий жест, в орлянку. Для меня – нет.

– Искупление ведь сродни предательству самого себя, ты не находишь? – продолжал Николай своё.

– Послушай, что ты говоришь, Николай! Ты же все законы Божьи
и человеческие попираешь в озорстве своем, жестоком к самому же себе. Упорствуешь во грехе гордыни и пытаешься себя оправдать. Никакой демагогией не гнушаешься, лишь бы не сознавать себя настоящего,
не видеть себя.

– Ладно, успокойся, это я так.

– Не будет тебе прощения, нет, не будет. Никто не вспомнит тебя среди многих других юродствующих умом, забывших уже все стремления свои в суете слепого эгоизма. Правда, чистая беспримесная правда рвет с вас одежды, но вы рядитесь в лохмотья заумных фраз, бесшовных афоризмов, отвлекаете взгляды фокусами и загадками…

– А ты никогда не думал, что эгоизм, как и ум, можно разви-
вать, а? – сказал Николай, словно и не слышал монаха. – Ну, согласись, что интеллект противоестественен в божьем мире, среди гармонии местной флоры и фауны, в которой всякое целое состоит из частей
и лишь частью является. Ведь интеллект, познавая порядок вещей, встает над ним, ломает его под себя. Но, развиваясь далее, он становится способен и воспроизводить этот порядок и развивать его. Так и то, что мы называем частным эгоизмом, может быть костью в горле общего –
«я» и «мы», «я» оспаривает «мы» и стремится подчинить его себе –
но может быть развито до уровней, когда «я» это самое «мы» вмещает целиком. Не задумывался? Разве не этого ты хочешь для человека? Разве не этим стремлением, пусть и неосознанно, движим сам?

– Прости, Николай. Меня совсем не забавляют твои пустопорожние умозаключения. Ты как графоман, завязший во многословии своего романа. Он меняет местами слова и переписывает целые абзацы, но текст никак не складывается в простое и ясное повествование. А ты множишь сомнения, играешь вопросами, неспособный сделать простого
и ясного шага. Я тебя здесь и оставлю – перед открытой дверью, в которую ты не хочешь войти. Оставлю с единственным лишь напутствием –
пройди свой путь до конца, только там ты поймешь. Уповаю на то, что Господь будет милостив к тебе.

– Вот и я так думаю. Хочу думать. Во всякой жизни есть смысл. Именно смысл, Алеша.

Игнатий поднялся, теперь уж статно, как и подобает, без волнения. Николай в привычных своих цепях встал следом, смотрел на бывшего друга и улыбался. Каждый из них видел в другом понимание того, что теперь прощаются уж навсегда. Поэтому молча. Игнатий обнял Николая, и тот послушно сжал плечи.

– Помилуй тебя Господь!

На обратном пути Игнатий почувствовал усталость, которую принял за покой. Решил сегодня обязательно уж посетить вечерню, слишком многие службы пропустил в последнее время, увлекшись мирскими делами.

На следующий день настоятель призвал Игнатия в неурочный час, когда обычно обходил с келарем монастырские мастерские. Игнатий оставил своих подопечных иноков изучать часослов и отправился, гадая, что же тому понадобилось. В административной палате он сразу натолкнулся на полковника, тот ходил взад и вперед у самой двери, заложив руки с прыгающей в них фуражкой за спину.

– Здравия желаю, ваше преподобие, но день сегодня не добрый, скажу сразу, – остановился, холодно уставился на Игнатия, сверкнув пенсне, зашагал дальше.

– Что такое? – Игнатий отыскал глазами настоятеля, но тот сидел за своим столом с лицом сфинкса.

– Да понимаете, какая оказия случилась, – свою колючую связку ключей полковник притащил и сюда; гремят на его поясе при каждом шаге, – наш общий подопечный, Белогорцев, сегодня ночью удавился.

– Как? – выдохнул Игнатий.

– Да вот так, – полковник встал, вытягиваясь на носках до скрипа сапог, – отгрыз рукав рубахи, разорвал на лоскуты и, связав их на оконной решетке, кончил с собой, представьте себе, – вновь зашастал туда-сюда. – Недюжинную волю нужно иметь, чтоб так-то вот все сделать. Волю и решимость. И терпение, да, скажу я вам. Мозг-то, когда задыхается, спастись хочет, тело к жизни призывает – человек, даже самоубиться задумавший, рефлекторно опору ищет, чтобы шею-то высвободить. А Белогорцев же нет, не с табурета соскакивал, загодя лишая себя возможности вернуться, не в воздухе повис, а вот прямо на полу, на грешной земле стоя, сам, собственным телом в петле наваливался, собственными, так сказать, руками себе шею давил… Сколько ж времени на это ушло, а? Бог весть, как ему это удалось.

Игнатий крестился, закрыв глаза, словно перед ним раскрывалось что-то оскорбительно бесстыдное, бесшумно шевеля губами слова молитвы.

– Не повесился, а именно удавил себя. Вмешательство третьих лиц совершенно исключено, смею вас заверить. Он содержался в одиночной камере под строгим запретом на общение с другими заключенными. А уж мои жандармы ребята все проверенные. Нет, совершенно исключено! – полковник вновь оказался рядом. – Вот я и пришел к вам узнать, что же такое с Белогорцевым приключилось. Что между вами произошло, а, святой отец?

– Мне нечего сказать, полковник.

– Вы так настаивали на встрече… Я счел, что дружеское общение,
к тому же со священнослужителем, умиротворит Белогорцева, успокоит его… Ведь я вас предупреждал. Предупреждал, верно?

– Да. Но я не заметил никаких признаков…

– А должны были заметить, разве нет? И не раз ведь приходили, вновь и вновь продолжали свой разговор…. Так о чем же шла речь? При вашем настоятеле спрашиваю.

– О вещах совершенно общих. Немного спорили, Николай ведь тоже семинарист, богословские вопросы ему не чужды…

– Богословские вопросы, значит. Карой небесной его пугали?

– Оставьте, полковник. Я не понимаю, о чем вы допытываетесь.

– Это экстраординарное событие, святой отец, вы должны понимать. Это не просто крестьянина в глухой деревне бог прибрал. Тут государственный преступник, находящийся под властью закона, покончил с собой – много бумаг будет исписано, прежде чем дело закроют.
В сущности, мне все равно – то, что было между грешником и исповедником, дело Господа Бога, не мое, – но мне рапорт нужно составить, а потом по инстанциям его направить и ждать высочайшего решения.
И надеюсь, вы догадываетесь, что ваше имя тоже в том рапорте упомянуто будет. Так что же, по-вашему, произошло?

– Поверьте, полковник, я ошеломлен не меньше вашего. Не вижу, не нахожу ни одной причины явной, не могу объяснить… Вчера мы почти договорились. Беспокойство осталось во мне, я видел, как тяжела и маетна душа Николая, но милостью Божией, казалось, светлела. Уповал я, что путь его выправится, видел к тому первые робкие шаги. Видел.
И выходит, что грешен в том.

– Ну, это к делу, пожалуй, не пришьешь… Что ж, поверю…. Значит, нет у нас ясного определения, значит, он сам все решил. Значит, вроде несчастный случай получается как будто… Чужая душа, как говорится, потемки, да? Ну что ж, ладно, на том и порешим. Тогда, ваше высокопреподобие, разрешите откланяться. Благословите, святой отец.

Настоятель отец Григорий поднялся к полковнику.

– На все воля Божия, примем ее со смирением, – проговорил. – Будем молиться во искупление грехов наших, явных и неявных, осознанных и невольных. Не подозреваю я, полковник, в произошедшем никакой возможности того, что было бы важно для вашего рапорта.

Перекрестил офицера, протянул руку для поцелуя.

– Можно ли увидеть его, Николая? – пробормотал Игнатий, когда полковник уже напяливал на лысую голову фуражку.

– Это исключено, не по уставу, – отрезал тот, блестя кокардой. – Тело Белогорцева после всех формальностей будет захоронено на острожном кладбище. Это все. Честь имею, святые отцы.

Когда он вышел, настоятель приобнял Игнатия, тронул его за руку.

– Брат мой! Жаль мне тебя всею душой, вместе с тобой пред ликом Господним плачу. Пожалуй, воздержись пока от общих служб с братией, удались в келью, помолись, да не спеша помолись, с усердием. Ежели душа возжелает, исповедую тебя, приходи запросто, когда пожелаешь.

Через неделю неусыпных молитв митрополит вынес Игнатию временный запрет священодействовать.

Да он и сам испросил разрешения отбыть в Спасо-Преображенский монастырь Соловецкий. И ушел с благословением братии. Через Успенский Высоковский, Кириллов и Ферапонтов монастыри, пешком и на крестьянских санях добирался.

Как взобрался в заиндевевший баркас на Белом море, только тут словно бы освободился к радости Рождества.

Местный игумен принял его благосклонно, выслушал, прочитав послание отца Григория, обещал сразу после праздника определить ему скит во временное обиталище, а пока отпустил.

Игнатий пошел в собор и в его гулкой тишине, под пятиметровыми сводами, под защитой приделов, что вознесены подобно крепостным башням, пал ниц. Раскинул руки, как в день пострига, прижался щекой к полу, словно спрятал лицо в материнских ладонях. И пригрезилась ему надобность учинить скит собственный, в честь Второго Пришествия, самого аскетического устава, какой только человек способен выдержать. Скит без дверей, да и без окон, с единственным проходом сквозь толщу земли, таким узким и стесненным, чтобы как в норе, на коленях ползти в одиночестве и смирении, чтобы не обернуться назад. Кельи по числу апостолов солярной фигурой выстроить, вырубить
в каждой по малому участку бревна в одном из венцов сруба, да повыше, чтоб глаз насельника не путался видами далей, но созерцал свет.
А в центре скита колодец выкопать. Так грезил Игнатий, обливаясь горячими слезами стыда за то, что оскорбляет молитву своим намерением. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.